

# БИБЛИОГРАФИЯ

---

*Е. Н. Ищенко\**

**В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ТОПОСА**  
**(Грякалов А. А. Топос и субъективность.**  
**Свидетельства утверждения. — СПб.: Наука, 2019. — 567 с.)**

*E. N. Ishchenko*  
*IN SEARCH OF LOST TOPOS*  
*(Grjakalov A. A. Topos and Subjectivity.*  
*Testimonies of Statement. — St. Petersburg: Nauka, 2019. — 567 p.)*

Фундаментальное произведение Алексея Алексеевича Грякалова, не нуждающегося в специальных представлениях в философском сообществе, захватывает сразу же и не отпускает, когда прочитана последняя страница. О книге хорошо думать потом, когда ее отзвуки уже поселились в смысловом топосе читателя, наполнив его новыми нотами. Банальное определение послевкусия не подходит, оно подобно гугловским подсказкам набираемого в поисковике слова — попыткам подвести под общий знаменатель. Значит, надо вслед за автором искать новые образы, менять привычную оптику. Не так-то это и просто, поскольку читатель имеет дело с писателем, который философствует, добывая подручные себе слова в некой языковой каменоломне. В то же время книга — как и положено тексту, написанному человеком особого миро-видения, не прячущемуся за ширмы постиронического письма, вызывает сильные эмоции, в чем-то даже провоцирует эмпатию. Речь идет о серьезных, насущных вещах, властно вторгающихся в тихие заводы повседневности. Одиноким голос человека, прозвучав, обретает величие мощного жеста, меняющего реальность, в которой пребывает читатель.

Перефразируя известную сентенцию, скажем, что автор как писатель не может не создавать философский текст как книгу, в которой материя слова, встречаясь с бестелесностью мысли, просто обязана обрести уникальную,

---

\* Ищенко Елена Николаевна, доктор философских наук, профессор кафедры онтологии и теории познания факультета философии и психологии, Воронежский государственный университет; ishchenkophilosophy@yandex.ru

единственно возможную форму. Как кажется, именно поэтому текст невозможно пере-сказать, слова так плотно пригнаны друг к другу, что изменяя их порядок, просто слышишь звук рвущейся материи. Но это, разумеется, вовсе не означает запрета на комментарий, попытки дескрипции опыта сопереживания и о-смысления.

Актуальность в общепринятом смысле означает размышления о происходящем здесь и теперь. Но как быть, если, как пишет автор, «границы нынешних территорий поплыли кровью — утрата прежних и обретение новых демаркаций изменяет цвета существования во всех местах обитания» (с. 9)? Если «время перестало быть сдерживающей и производящей смыслом силой» (с. 11)? Осознание задачи философского действия в таком хроно-топосе требует погружения прежде прорыва. Прорастания в традицию, из которой добыты открытия Флоренского, Шпета, Розанова, Бахтина, Библихина, Подороги... Путешествия в смысловую империю, образованную творчеством Хайдеггера, Слотердайка, Бадью, Агамбена, Деррида, Нанси, Лакана... Так постепенно, шаг за шагом, сквозь марево информационных потоков проступает подлинное понимание эстетического поворота, из-за бездумного употребления ставшего нынче дискурсивным клише. Философствование как эстетический жест не низвергает эстетику с классических высот, напротив, возвышает ее до приличествующего ей топоса субъективности.

Банальность крушения иерархий в ситуации постсовременности в книге перерабатывается и переосмысливается в русле ее предварительности, даже в некотором смысле подручности для творчества нового. Автор не боится работы с культурным мусором, отброшенным в сторону, когда-то кем-то признанным ненужным и не-философским. Исчезнувшее из поля зрения не перестает существовать, оно становится заколдованным местом. «Топо-логика субъективности — один из путей сохранения и приращения всеобщности и родового начала мысли» (с. 16).

Мы, собственно, давно усвоили, что текст рождает автора. Но ведь и читатель рождается совместно с автором. В произведении всегда видно, во всяком случае, ощутимо, каким будет их совместное бытование в чтении-письме. Будет ли это увлекательное путешествие, завораживающее действие, торопливый сбивчивый разговор перед отправлением поезда или долгое подробное вглядывание. Книга, о которой идет речь, позволяет нам (ре)конструировать умысел автора, много раз проясняющего свои намерения. И это не декларации, красивые фразы, которые читатели потом с удовольствием разберут на цитаты, способные украсить собой любой текст. Топос субъективности требует и настройки своего темпоритма, визуализации оригиналов, не предполагающих копий, различания поверх различий. Впрочем, одно не исключает другого, ведь высказывания автора и в самом деле очень хороши по форме, по звучанию. «... Там где одинаково — там одиноко», — пишет автор, и мы тотчас понимаем, что нам не будет одиноко в многомерном пространстве текста, обитаемом, живом, звучащем, наполненном светом и воздухом.

Простраивая несущий каркас книги как некоторого, если угодно, архитектурного сооружения, в открывающей книгу главе «Эстетика формы — острашение мест» автор исследует на прочность несущие смысловые конструкции,

которые должны выдержать топо-логику в ее осуществлении. Но прежде всего необходима расчистка пространства, символического поля, избавление понятий от приросших к ним ненужных коннотаций, разбор философских завалов, под которыми погребены, обездвижены образы и метафоры, которые необходимо вос-создать, сделать способными к взмыванию ввысь, совместно с авторской мыслью. Время, вечность, топос, сборка, произведение, эстетизм, свидетельство... Постепенно проступает образ человека-свидетеля, который создается, созидается. Логика повествования — логика, разумеется, в очень специальном смысле, понимаемая как наращивание смысловых слоев, движение в герменевтическом круге, — начинается с истоков, «русского опыта» топологической субъективности. Четыре его первоэлемента: космизм, Толстой, Чехов и Розанов, представляют собой разные воплощения единой материи рассеянной субъективности. Когда философ читает художественные произведения, ему далеко не всегда удастся пробиться сквозь толщу литературоведческих покровов, под чьим заботливым укрытием классика скорее мумифицируется, превращается в объект, утрачивает дильтеевский «остаток человеческого бытия в произведении».

Иная ситуация реализуется в книге. Автор выбирает в со-работники ученых философствующих, не боящихся не только смотреть, но и видеть. Инаковость взгляда на хрестоматийное, изученное позволяет в полной мере осуществить остранение в его исконном смысле. Поэтому так глубоко и одновременно увлекательно написаны страницы, посвященные классикам. Автор определяет философию Чехова как «особого рода экзистенциальный органицизм с предельным топо-графическим и топо-логическим вниманием» (с. 106). Исследование творчества Толстого приводит к мысли о том, что «он — один среди многих, не растворяясь в формуле люди, пребывает среди всех. Осуществлено то, что может быть названо последовательным феноменологическим анализом — постепенно за скобки выносятся все, что может быть подвергнуто сомнению» (с. 130–131). Происходит переключение в новый режим видения привычного, и это упражнение, которое должен проделать читатель, с одной стороны, дисциплинирует, но и предуготовливает, настраивает на смену самопонимания, погружения в собственную субъективность. Бесспорно, непросто исследовать как бы известное, но не менее сложно включать в контекст имена не известные, что называется, широкой публике.

Ян Мукаржовский — герой главы «Славянский структурализм: эстетика творчества и субъективность» — как раз из числа таких имен, открытых автором в его ранних работах и не отпускающих, живущих в контексте философского поиска. Сцепка авангарда и структурализма составляет один из закольцованных сюжетов внутри книги. «Структурализм... задает специфическую антропо-логику: речь идет о том понимании человека, которое не определяет его природу в универсальных понятиях, а постигает человека в его динамической соотнесенности с другими людьми. Другой воспринимается в его неповторимой инаковости и не сводится ни к какому внешнему опыту» (с. 257). И еще один герой — Сигизмунд Кржижановский, — неоднократно возникая в тексте, проявляясь то подробно, то совсем коротко, открыт автором как особая фигура, глубоко проникшая в тему субъективности. «Кржижановский представляет

ситуацию, которую можно назвать возможной, виртуальной, фантомной пост-историей. <...> Писатель в понимании Кржижановского — новый гностик. И формой литературы призвана быть <...> драма, по самой своей сущности наклоненная в будущее» (с. 365). «Кржижановский оперировал философскими понятиями, концептами, идеями и проектами таким образом, что они оказывались даны именно в становлении и являлись данностью, а не заданностью» (с. 409). Так голоса знакомцев и незнакомцев начинают проговаривать общее течение мысли, пропитывающее, проникающее в общее течение жизни.

Глава, посвященная взаимоотношению бессознательного и субъективности, становится следующим шагом к описанию «опыта предела», представленного в переживании экстаза в его сектантском изводе. «Сектанты ищут себя и обретают. Событие обретения происходит в ситуации выхода из временности в особого рода длительность...» (с. 284) И здесь не столь важны практики и техники такого рода выхода-исхода, принципиально то, что «сектантский опыт — особая форма неклассической идентификации субъективности» (с. 286). Увлекательность путешествия внутри и вовне на глазах читателя строящегося замысла книги все время чревата интеллектуальными приключениями. Автор постоянно держит читателя в состоянии высочайшего напряжения, неослабевающего внимания, но добивается этого не искусными кульбитами мысли, но неожиданной всякий раз демонстрацией возможностей собственного миро-видения. Разработка тематизаций, так или иначе связанных с телесностью, вдруг (как кажется) приводит к исследованию произведения Л. Гессена «Восьмерка (рассказ с чертежами)». Автор видит драматизм отношений плоскости и глубины, представленный в рассказе, как «невозможность сознательного освоения телесности и отсутствие соответствующего языка для их определения» (с. 387). Движение внутри текста невольно заставляет вспомнить жаркие дискуссии пост-советских времен о возможности русской философии *per se*. Отметая шелуху благоглупостей, которых было сказано немало, беремся лишь утверждать, что опыт языкового творчества Алексея Алексеевича Грякалова свидетельствует даже не о возможности, а о необходимости философского употребления русского языка. Пластичность языкового материала, его способность к предельной безграничности выражения тончайших нюансов, хрупкости чувств и брутальности размашистого действия, прекрасно проявляет себя не только в литературной мастерской, но и в кабинете философа.

Рано или поздно горизонт ожидания читателя как бы сам вызывает тему, просвечивающую, бликующую в материи текста: слова и вещи. «Монодрамы вещей» описаны и проявлены автором посредством герменевтического прочтения Платонова и Пильняка. В этом пространстве Витгенштейн и Хайдеггер, Латур и Лакан со-работствуют, разгоняя контраст для новой онто-логи(к)и. Мелодия «белых ночей» дополняет ее темой времени и вечности, новым августицизмом, очень современным и слишком, почти невыносимо щемящим. Кажется, именно здесь автор дает полную свободу тому пониманию, которое, согласно дильтеевской формуле, есть «единство чувства, мысли, воления и оценки»...

Современность маскирует реальность, разбивает зеркало, в которое страшно, но все же необходимо заглядывать. Тем более важным оказывается

философский взгляд на происходящее. Если точнее, на то, что хочет быть представленным как происходящее. Автор предлагает предельно жесткую формулировку: «...именно информационная доминанта глобального мира влечет за собой постановку вопроса об отношении к тексту и контексту современности (язык, управление, власть) — информация не факультативный признак, а одно из основных условий существования человечества. Битва за выживание — биологическое и социальное — битва за информацию» (с. 448). «Подделкой диалога» оказывается обмен информацией (добавим от себя — бессмысленный и беспощадный...). Но автор читателю возможность совместно найти выход из этой невероятно тревожной, почти апокалиптической ситуации. Впрочем, в этом пункте необходимо остановиться, предоставив читателям самим пройти пути топо-логоса пост(современности).

«Губительным и чудовищным» назвал Пико делла Мирандола «поразившее умы» убеждение в ненужности философии. Взлет ренессансной культуры никак не совмещается в нашем сознании с таким утверждением. Но еще более парадоксальным оказывается его идеальное совпадение с духом цифровой эпохи. Книга «Топос и субъективность» не просто апология современной философии, и не только опыт утешения философией (хотя и это было бы исключительно необходимым жестом). Автор доказывает, что философия не только может быть в пространстве русской культуры, занимая скромное место где-нибудь среди необязательных, невостребованных большинством вещей, она и есть в конечном итоге топос концентрации «интеллектуальных разумных сил», которые способны сделать мир «устойчивее и обустроенней» (с. 546).

В предисловии автор обозначил «окрестности» собственного философствования. Они представлены в корпусе его исследований, которые с выходом новой книги обрели целостность — но не завершенность — посреди ландшафта реальности, (в) которой живет философ и писатель Алексей Алексеевич Грякалов.